

Волосогрызка

Села на голое плечо, побежала под майку, неприятно царапая кожу. Извернулся, поймал, оторвал голову — и бросил за металлическую сетку летнего курятника. Голова поползла, шевеля чёрными усищами. Курица догнала и склевала.

— Ты вырастешь злым и жестоким! — сказала мама.

А я вырос писателем. И первая чужая боль, прочувствованная, как своя, — боль несчастной волосогрызки, которой оторвали голову. Первое отчаяние и одиночество — от слов мамы, ведь она ничего не поняла.

Земля

Бывает, найдёшь в лесу какой-нибудь инородный предмет, скажем, электрическую лампочку с повисшей паутинкой-спиралькой и проржавевшим цоколем. И такое странное чувство, столько вдруг привязанности и теплоты, как будто однажды ушёл насовсем, унеся с собой лишь это напоминание о земле, где когда-то жил. И не столько удивисься, откуда лампочка в этих диких местах, сколько захочешь поверить, что она — давнишних советских времён. И не потому хочется поверить в это, что она — и вправду советская, а потому что из советских лет твоего детства, с той земли, на которой тебя уже никогда не будет. Так, впрочем, и сама земля канула безвозвратно и теперь напоминает о себе такими вот грустными находками вроде этой сгоревшей лампочки или отклеенной на парú почтовой марки, случайно обнаруженной между страниц некогда любимой книги. Но, может быть, эти-то напоминания и стали той последней нашей землёй, пядью священной её, которую уже не отобрать, даже у мёртвых.

На круги своя

Записав какую-то очередную мысль в блокнот, машинально, как ракета отработавшую ступень, бросил иступленный карандашный огрызок под дерево: авось, снова вырастет — деревом, лесом.

И был в этом произвольном движении некий момент возвращения, ведь и я однажды полюбил книги, как лес, и когда в семнадцать зимовал в бурятском посёлке, посреди сплошной жёлтой степи с завихреньями гнилого березняка на горизонте, — и сам стал писать, уже осмысленно, целенаправленно, ни книг, ни, видит Бог, славы ради, а словно бы возвращая лес, населяя им сумрачную унылую равнину жизни.

И кто бы тогда подсказал, что уже никогда не вернётся это незабвенное времечко первых любовей, первых серьёзных болей, первых черновиков и карандашей, а там и вовсе придёт пора, когда вот этот брошенный под дерево исписанный карандашик останется едва ли не единственной и последней надеждой на то, что всё-таки не пройдут бесследно ни жизнь твоя, ни твои книги, ни те невозвратные семнадцать с их крошечным одиночеством на краю мироздания, в центре безжизненного бумажного пейзажа, на переднем фланге русского слова.

Пробка

Серый, уже январский день нового года. Небо — сплошная пелена цвета створоженного молока, и за этой пеленой — лимонная долька солнца.

Рядом с клубом на дороге валяется обрывок «дождя», торчат из сугроба картонные гильзы выстрелянных фейерверков, зияет зелёным глазом донце нарядной бутылки из-под шампанского.

Об эту пору пройди хоть весь посёлок — на улицах ни души, как бывает в деревне ранним утром 1 января. Люди спят, «репетируя смерть», по словам поэта. Лишь в некоторых избах моргнёт в последних рассветных сумерках окно, запалится жёлтым квадратиком, а там знакомо, хрестоматийно скрипнет несмазанная

дверь, распадётся с гулким стеклянным дзыком расколотое полено, первое в этом году. И вот уже воскурился дым — сначала лёгкий, нежный, вроде полезшего лебяжьего пуха, а затем густой, смолистый, чернящий белый новогодний снег вокруг трубы вьющимся роем оседающей копоти...

В этих избах живут одинокие старики. Они уже проснулись, затопили печки и сидят просто так, приоткрыв топку, слушают нарастающий шум огня, смотрят, как он — рыжий, кулакастый — бодается в тесной кирпичной клетке, всё равно что сама душа в теле на восходе жизни, которая была длинной, так что, казалось, не будет ей конца, да вот вся вышла. Это утро для них — обычное, будничное, потому что никакого праздника нет уже много лет, одно лишь невесёлое ожидание грядущей новины, последней на их веку. Об этом думано-передумано, так что и ожидание уже не пугает, и скажи этим старикам в следующую минуту собраться — только подпояшутся.

...Войдёшь в такую избу, обмety унты берёзовым голиком. Гаркнешь:

— Ты чё, пенсия?! В Божью рань поднялся...

— Я давно так сижу! — ответит радостно, как будто этого вопроса и ждал. — Это вы, молодые, дрыхнете до обеда. А я раз-раз — и выспался...

И встанет проворно, и прочапает к горке, и забрякает крышечкой фаянсовой советской конфетницы, не умея так сразу поддеть лоснящимися пальцами. Наконец, снимет. Наберёт, руководствуясь какими-то своими соображениями, и снова прочапает, подаст горстку старой, с налипшими фантиками карамели, которую, наверное, запас для внуков к какому-нибудь давнишнему празднику, а внуки так и не приехали. И нужно обязательно взять! И развернуть, и сотворить хотя бы этот маленький праздник, чтобы старику не было так грустно остаться потом в пустом доме с ощущением полной ненужности, столь знакомой тебе, коль скоро и ты со своими книгами живёшь на этой земле в ожидании, что однажды постучат, встанут на пороге, спросят, жив ли ты и здоров, а то ведь, может, и в помине больше нет. А там уж, действительно, ничего кроме и не надо — только подпоясаться...

— Ты-то хоть иногда проведывай, — ручкается напоследок, напоив чаем, выслушав деревенские новости и вволю наговорясь, высвободив душу от всего, что скопилось, сгрудилось, сваялось и который день, а то и неделю стояло в груди глухой пробкой. — А то сдохну, никто и не чухнет! Буду лежать до весны, пока не запахну...

И кивнёшь, и пожмёшь холодную стариковскую руку, и пойдёшь, задевая косяки, лавку, вёдра, и заплачешь в промёрзших тёмных сенцах с одной-единственной светящейся стеклиной. И с той поры овладеет тобой такая невозможная печаль, что нигде, ни в чём и ни с кем не найдёшь себе успокоения, и будешь, как чахоточный, выхаркивать свою боль в словах, пробку эту проклятую, а она раз за разом снова станет затыкать, так что белого света не видно и жить не хочется, и некому будет тебе помочь, и так до скончания дней твоих.

Пустота

Снег с ночи, ветер и воскресная пустота в посёлке. Лишь одинокий рыбак с утра сидит на льду, глядит в лунку — и что-то там видит?

Несколько раз за день выходил на угор, хлопая калиткой на пружине, — сидит, как привязанный, соорудив со стороны ветра и снега защиту из кольев и полиэти-

леновой плёнки. Ни снега, ни ветра в этом затишке. Иногда, впрочем, — дымок от примуса. Вот и всё, чем жив человек...

Наверное, что бы ему ни виделось в лунке, он счастлив в своей пустоте! Так счастливы все мы — сначала в утробе, потом в детской кроватке или пионерской палатке: оттого, что мир огромен и всё ещё впереди, надо лишь прогрызть этот кокон. Как счастливы, вероятно, в конце, на пороге вечной пустоты, когда всё, что было можно, выполнено, а жизни осталось ровно столько, что ни доделать, ни, тем более, начать заново, только сидеть и ждать. И чувствовать, как снова обрасс-таешь коконом, возвращаясь в себя, прежнего, и уже навсегда.

Кинул снежком

Что-то как будто сдвинулось во мне, пошло в завязь. И я, боясь растратить на какую-нибудь бытовую колготню это счастливое предчувствие зарождающегося плода, скорее оделся, спустил Шарика и направился в лес, лишь бы побыть одному и в этом уединении, как в шумоизолирующей камере, по возможности благополучно выносить тревожившую меня мысль, зафиксировать и облечь в единственно правильные слова.

Но одиночества, клетки этой, как выяснилось, искал только я, в то время как Шарик в своём обществе не отказывал, да и моего не гнушался. Дурак дураком, он бросался на мои пластиковые ноги, как видно, не умея понять, почему ему не выделили такие же, или убегал по лыжне, предприимчиво ложился под скрюченный от снега куст можжевельника и с хитрой физиономией начинал «скрадывать», а едва я приближался, делая вид, что ничего не замечаю, выскакивал как ошалелый, атакуя страстно, весело, с заполошным лаем. И я, отвлѣкшись на него, на игру с ним, незаметно для себя выпустил из вниманья незримую ниточку, из которой стал было ткаться будущий текст, а когда вспомнил и потянул, оказалось, что на конце ничего не было. Мысль, ещё не оформясь, уже уползла обратно, отслоив земную кожу тех начальных неточных слов, которыми я успел очертить её для себя в первые минуты думанья о ней, и в дальнейшем за всё время прогулки ни она ко мне не возвращалась своим хотением, ни я не мог запередить её и скараулить, так что в этом плане мой уход в лес не стал спасением, ведь я всё равно расплылся в пустоту.

Правда, и в пустоте нашлась своя правота, вообще повод для размышлений с извлечением жизнеспособных смыслов, которых прежде не было. Так, например, я впервые задумался над тем, что вот это заснеженное поле с крестами высоковольтных столбов и щетиной шатающегося от ветра бурьяна, этот промѣрзший лес со стеклянно-звонкими стволами осин и угольно-чѣрными — пихт и ёлок, и Шарик, кусавший стекловолоконные лыжные палки в целях какого-то своего собственного независимого исследования, больше не проникают в моѣ сознание в виде метафор, сравнений и прочей художественной чепухи. Он, этот мир, вдруг предстал передо мной таким, каким он и был на самом деле со дня сотворения его и какой я со своим сочинительством в определённый момент выпустил из виду, а вот сейчас снова нашѣл, радостно швырнул в него снежком, и когда он, как скомканный бумажный лист, перехватил на лету, я узнал его во всей прежней простоте и вслед за поэтом повторил: «Мир прекрасен!» И этим-то подзабытым, доселе знаемым лишь по воспоминаниям детства бескорыстным ощущением жизни был за всё возблагодарѣн и навеки отпущен.

Проза

Бежит по улице собака и приплясывает. И каждый думает: отпустили с привязи, вот она и радуется! На самом деле собака сорвалась сама, но приплясывает вовсе не от радости, а оттого, что обрывок цепи бьёт её по передним лапам.

Тетерев запел

Рядом с котельной, там, где зимой посыпали шлаком, развязлась и зачавкала дорога, а ручейки продёрнулись уже по всему посёлку, обогнули мою ограду, словно подыскивая, в каком бы месте поднырнуть, затопив баню и двор. Но это днём, на припёке. Между тем, с утра гулко, как в пустом концертном зале, стоит колом свешенная с жёлоба обледенелая верёвка, и хорошо слышно, как в сосняке за Леной знакомо булькает, будто моют под краном пустую бутылку, подставив — звонкую, стеклянную — узким свистящим горлышком под напор бьющей снопом воды...

Это пробует свою весеннюю песню тетерев!

И от знания этого, а паче от самого звука безотносительно к природе его происхождения, столь торжественно и празднично на душе, словно не тетерев запел в утреннем лесу, а запело в тебе не написанное произведение. Но ещё прежде, собственно, предваряя это пение, пробудилась та несказанная радость жизни и незаметно возобладали тобой волшебство того внезапного умения петь, отчего, в конечном счёте, всё и наполняется смыслом — и птица, и слово, и душа. И вот уже нет печали в твоём молчании, коль скоро есть эта радость жизни и это волшебство пусть не самого исторжения звуков, но улавливания их в мире, а по сути, и молчания как такового нет, если умеешь слышать в начальной безыскусной простоте, и это дар Господень, которым за многое оправдаешься. Однако и спросится за него, похоже, вдвойне.

В семь вечера

Тихие солнечные дни, изредка натекут облака. С крыши беспрестанно каплет на жестяный лист, приставленный к стене дома, и стукоток, словно кормишь пшеном цыплят. Там, где крыши уже обсохли, воробьи греются на дощатых коньках, жмурясь столь непосредственно, выразительно, что и в окно видно. Снег потяжелел, стал кристаллизироваться, и теперь, когда втыкаешь лопату, шуршит, как песок, расслаиваясь мельчайшими ледяными спаями...

Но самое нежное, самое волнующее — вечером!

Тогда светлее проплывающие над посёлком облака, допевает своё дневное синица, а капли, замирая одна за другой, ещё долго синеют на кончиках ребристых сосулечек. И если выставить форточку, занавеску, как парус, вздует среди ночи свежий весенний ветер с полей, и станет слышно, как истошно хлопочет растрепавшийся российский флаг на длинной железной спице возле сельсовета.

У вечной реки

1

- ...Тама-ка эту самоходку не видать?
- Бабку Веру-то?
- Но-о!
- На почту пошла...
- От египетская туристка!

Сам сидит: чуб задран, вид варначий, в зубах — самодельный мундштук из приплюснутой алюминиевой трубочки. Брюки заправлены в носки. Глаза — ласковы и голубы. Смотрят на вспученную щелястую Лену и слезятся без ветра. Губы — как лёд на реке — иссиня. Не иначе, на смерть...

2

Вода открылась — и умер. Повезли с подвязанным ртом — с одного берега на другой. Их два у вечной реки.

Стерегут Лену

Подкралась за ночь к верхней тычке, залилась по взвозу и опоясала школьную ограду, наполнив водоотводную канаву за складами. Два раза туда и обратно пролетел вертолёт, всякий раз замедляясь над посёлком — вероятно, для того, чтобы сделать аэросъёмку и отследить, насколько меняется положение и в какую сторону. Когда зависает над тайгой — деревья мечутся, раздуваясь воронкой, и клокочут на ветру, словно куски шёлка или атласа, а если над Леной — вода заходитя в судорогах, бежит-бежит, напластываясь, и, наконец, разлёвывается глубокой чёрной ямой с хлопьями взбитой пены по кругу. Ну а когда над посёлком — клацают стекла, вихрится пыль, гоняются в воздухе конфетные фантики и прошлогодние тополиные листья, мужики выходят за калитку и школьники сбегают с уроков, и того гляди сорвёт шапку...

С вечера дежурят на угоре, в основном жители береговых улиц, — стерегут Лену. Картошку уже вынули из подполья, подняли в мешках на чердак или вывезли к родственникам. Паспорта, другие документы — в нагрудных карманах, или дома на высоком видном месте. Мебель не трогают («Рухлядь не жалко!») Жалко дома: просуши попробуй!.. Жгут всю ночь костры (яркие рыжие пятна в реке, снопы искр, металлический блеск воды, мерцание проплывшей склизкой коряги, трепет: «А если утопленник?!»). Сидят на лавочках и вынесенных табуретках. Разговаривают. Иногда — смеются. Варят чай в большом чумазом котле. Греются, взяв кружку обеими руками. Дуют на чай (в кружках судороги, как будто тоже завис маленький вертолётчик). Одеты во всё тёплое: шапки, телогрейки, галоши с вставным чулком или «дутьши» на вате. Варезжки ещё — на руках у женщин. Днём — варезек нет, а мужики расстёгивают на груди телогрейки. И костры уже не горят — курятся. Дым стелется над рекой, и есть в этом что-то горькое, детское, с дырчатыми карманами в демисезонном пальто... О вертолёте говорят:

— Полетел низовья бомбить!

К обеду особенно людно. Идут и идут, даже с тех улиц, куда вода в любом случае не достанет. Как вахту несут: одни пришли — другие сменились. И так

весь день. Стерегут Лену. Она заметно прибыла, подвинулась на метр-другой: это солнце пригрело, а в распадках ещё лежит снег...

Обычное место сбора — возле школы. Мужики стоят — наваясь на штакетник, шапки вздев на макушку. Некоторые — в броднях, закатанных под коленами: или с рыбалки вернулись, или собрались уток погонять. Курят (спички, окурки пшикают, затухая в воде). Прислушиваются: заиграл ли ручей за рекой? Если заиграл, «заиграли» распадки — значит, вода поднимется ещё.

— А она поднимется, к бабке не ходи, — рассуждают грамотно и просто, не боясь худших прогнозов. — Заломит где-нибудь возле Ленска, опять мы поплывём. Я своей так и сказал: привязывай кастрюли...

Но от реки шумно, и заиграл, нет ли ручей — не слышно. Слышно трескотню баб — они сплылись в стайку и гогочут без умолка. Судачат: кто что знает, или слышал краем уха, и что было написано в районной газете о возможном подтоплении, и какую компенсацию ждать, если вправду «поплывут». И всегда найдётся самая информированная, в мужниной рабочей куртке и с восторженным ужасом в глазах:

— Позвонили с города, сказали готовиться: вал идёт! До девяти метров!

— Сколь-сколь, Дуся?! — со всех сторон.

— До девяти...

Как горячий головнёй обнесёт! И вот — вздрогнули, зашевелились, и то в кучку сожмутся, то шарахнутся врозь. Кряквы да кряквы! Да и в тебе что-то обомрёт, заглядится в страшную тёмную воду и прошепчет спёкшимися губами: «До девяти метров!»

Надо идти готовиться, но никто не уходит. Стоят, ждут этого вала. Этих девяти. У женщин — надлом в голосах и ладони у рта, у мужиков — лбы наморщены и бродни развёрнуты. Лодки с моторами давно на воде. Мужики время от времени подрабатывают резиновой «грушей», загоняя топливо из бензобака в двигатель, и с матом раскочегаривают свои «Вихри» и «Ветерки», чтобы проверить сети или сбуксировать к берегу плывущую деревину, и когда лодка с рёвом уже рассекает воду, смог от заведённого мотора ещё стоит на одном месте рваным кустом. Ребятишки собрали тетрадки-учебники и подняли на чердак, где картошка, и оттуда, свесив ноги, смотрят вокруг, на огромную живую воду и лодку, которая медленно увлекает за собой длинный тяжёлый карандаш. «Вон папка! Папка!» — кричат матерям, и те привычно сердятся: «Вы там сильно не лазийте!» На ночь их разводят по родственникам, дальше от воды. А сами остаются — стерегут реку. И когда затопит очередную вешку, слизнёт на всю длину цепей и сдвинет лодки, какая-нибудь больше других сердобольная женщина обязательно скажет:

— Ну, магушка, красавица наша! Попугала — и хватит, пожалей нас! — и никто не посмеётся, как в другой раз. Наоборот, оживёт в памяти почти иконный образ старухи, матери или бабушки, которая вот так же, на пару с мужем, подтаскивала лодку, а потом жалобила реку и кидала ей хлебные кусочки.

...И снова всю ночь горят костры по угору, к которому подступила вода, а утром висит над посёлком вертолёт! Как в детстве, кажется, что вот-вот сбросят верёвочную лестницу, по ней спустится добрый волшебник, взмахнёт палочкой — и вода, послушная, утечёт обратно. Но лестница всё не появляется, и ребятишки, после уроков прибежав к своим, по сговору дразнятся, задрав лица к небу и прыгая на одной ноге:

— Вертолёт, вертолёт! Ты возьми меня в полёт!..

Ни соль и ни спички

На третий или четвёртый день споткнулась, и хотя по-прежнему стоит всклень — вровень с угором, по всему видно, что скоро покатится обратно. И уже мир-покой на береговых улицах, уверенность в завтрашнем дне! А ещё оживление, как после пережитого страха, когда в тебе что-то как будто нарождается заново и тянется к свету и теплу. В такие минуты человек приходит к человеку, просит соли или спичек, и как сам идёт вовсе не потому, что нужны соль и спички, а лишь бы встретить родную душу, так и его выручают с радостью оттого, что пришёл человек и просит душу, а не соль и не спички. И если это женщины, то сидят на крыльце и молчат, а притихшие дети смотрят на них и не понимают:

— Вы чё такие-то?!

— А ничё, — отвечают. — Бегите поиграйтесь...

Вещи и картошка ещё на чердаках, но на пятую ночь тихо и черно на угоре. Пройди хоть весь посёлок до самых Старых Казарок — ни одного костра. Только река дышит, проблескивая при свете луны, как разлитые чернила, да иногда вспыхнет и погаснет яркая красная точка. Это кто-то из мужиков проснулся и вышел за ограду — проверить Лену, покурить, а окурочек бросил в реку. А там, вдалеке, на другом конце улицы, тоже согласно вспыхнуло и погасло. И хлопнула калитка. И снова всё замолкло. И лишь ты один не спишь, и мучительно любишь эту деревню, реку, этих людей, и как ещё недавно, в дни отчаяния, просил скорейшего избавления от всего, так и в эти ночные часы боишься только одного — смерти, и молишь об одном: чашу пронеси.

...Наутро вода и вправду стала падать. Но жители по привычке собираются возле школы. Вспоминают бессонные ночи, рассказывают о больших бедствиях, которые вода натворила в низовьях, и о том, как льдинами срезало какую-то деревушку. Мужики костерят МЧС, а женщины поминутно вздыхают:

— Не дай Бог!..

А между тем, светит солнце, обтаивает на суше грязная льдина, и лимонная набоковская бабочка летит над холодной северной рекой, забирая повыше от воды. Северяне кто в чём стоят на угоре, смотрят на могучую вечную воду, как бы спрашивая: «Что ты нам ещё принесёшь?..» И когда, громко приветствуя посёлок, проходит в сторону Якутии многотонный «Ленанефть», гружённый по самую ватерлинию, ребяташки, как заклинание, вслух зачитывают его судовой номер и бегут убрать удочки, чтоб не смыло волной...

Что ещё сказать об этих днях? Спасибо, что были в моей жизни.

Свет

После дождя переплыл в лодке на тот берег Лены. И так всё это было славно: ненастный майский день... в черноте и серебре — небеса... ветер, осыпающий на воду жёлтые соцветья ольхи... утки в кустах, их взволнованное кряканье... моторная лодка за речным изгибом, где, казалось в детстве, рыбы больше, а лес — краше, иллюстративней... Прошлогодня осока сваялась ворахами и после дождя пахнет копчёным салом — и это доселе закрытое для тебя знание волнует и бодрит, как в свой срок — запах молока, маминых рук, отцовского пота, первой женщины...

Милый сердцу пейзаж! А впрочем, не только и не столько он. Не зря величайший певец русской природы воскликнул, словно бы извиняясь за своё мастерство:

Нет, не пейзаж влечёт меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

И в самом деле, не краски прельщают! А то, например, что когда-то так же кричали утки в кустах, шмелино жужжала моторка. И ветер гнал по воде быстрые барашки, время от времени царапался дождь. Но это ни грамма не огорчало, коль скоро над рекой так красиво отцветала ольха, а в кармане у тебя расплющился хлебный мякиш с прилипшим грузилом-дробинкой, надрезанной посередине. Только вместо раскладного удилица была сосновая батожина, да плечи под выгоревшей на солнце штормовкой дрожали от холода. Ведь ты прибежал к реке ещё в сумерках, не своими от азарта руками наживил и забросил грубую деревенскую снасть, и всплеснувшая леска, как сполох или тень проплывшей гадюки, отразилась в глянцевого предрасветной воде. И ты весь затаился в предчувствии удачи и, наверное, даже не заметил, что на камне у воды сидел, наблюдая за тобой, коршун, блестел чёрными, всё равно что лакированными глазами, а в небе плыли и плыли фиолетовые облака, как будто кто-то листал слайды фильмоскопа, направляя в пространство дымный луч. Да и откуда было знать, что эти облака — не навсегда, и что не пейзаж с ними как таковой, а их незабвенный свет ты будешь возвращать всю жизнь, и чем она, жизнь, ближе подвинется к своему завершению, тем картины детства станут милей и невозвратней?

В детстве

1

Солнце горело ярче, на тополях светился первый пух.
Мама стирала во дворе, в воздухе над тазом кружились мыльные пузыри, как маленькие синие галактики.

Ты вошёл, дружок, в страну знаний.

Вычитать и умножать, малышей не обижать.

Без сопливых гололёд.

Бутерброды в школьной столовой ели, отодвигая колбасу по непропорционально большому куску хлеба, глотая слюни, отсрочивая праздник.

Лето — самые длинные каникулы.

Ходили в чахлый березняк на болоте, искали диких голубей, а промазав из лука, бежали за стрелой, возвращались с сырыми холодными лягушками за пазухой.

Бабушка и дедушка были живы...

2

Первый снег — как мокрая салфетка: идёшь, отрывая куски.

Первые стихи прячешь под подушкой.

Первые боли ни от кого не прячешь.

Первую кровь — прощаешь назавтра.

Печаль светла.

Простота бесконечна.

На губах — пятно от шоколадной конфеты и любимой девочки имя.

Всё твоё лежит под новогодней ёлкой.

Дворовый коммунизм — складчина.

Часов не замечаешь.

И в смерть не веришь...

Снег на ветке

Возил тележкой гравий от реки, отсыпал у крыльца, где во время дождя собирается лужа. К берегу пристала лодка, прибывшая с нефтеналивного танкера. Вышли в оранжевых спасательных жилетах — худенькая черноглазая девушка (волосы по ветру), а за ней — женщина лет сорока, видимо, её мама (и по совместительству — кок на судне). Спросила, где тут магазин. А девушка — просто посмотрела. Но снова, как в пятнадцать, всё ворохнулось при виде этой городской девочки с корабля, и горячо вообразилось, что она — самая-самая, как снег на ветке. И захотелось заплакать...

Печаль и надежда — отсюда стихи. От стихов — разочарование и одиночество.

За поливкой деревьев

Дать жизнь человеку проще, чем высадить дерево. Детей, случается, начинают походя, по пьяному делу, от бескультурья. А сколько мы знаем примеров, когда деревья высаживали походя, по пьяному делу, от бескультурья?

Страшно родиться рекой или деревом. В реку всякий может плюнуть, дерево — сжечь или срубить. И ни в том, ни в другом случае не получишь и малого отпора. Так вообще природа, что бы с ней ни делали, безропотно сносит всё и в ответ не поднимет руку, а все наши разговоры о том, что она якобы «мстит» то наводнением, то ураганом — плод нашего гордого ума. В то же время это никакая не месть природы, а суть усталость её от всех измывательств и зверств, что препрела она от человека.

На глазах человека, за столь ничтожный срок — век людской, стремительно редеют когда-то непролазные леса, год от года мелеют огромные реки, которые бежали миллионы лет, да вот, похоже, пришла пора иссякнуть... Ужасно быть свидетелем и современником, тем более ровесником этих процессов! И уму — непостижимо, а с точки зрения некой исторической логики — то и противоестественно. И чем дальше, тем больше всё это — и дремучесть сибирской тайги, и полноводность Лены или Волги — становится одним из расхожих русских мифов, по которым о нас всё ещё судят за границей и какими сами мы бахвалимся перед миром, ничуть не смущаясь тем, что немного оснований для гордости, а с каждым новым днём поводов к этому будет всё меньше и меньше.

Не министром, не банкиром, не владельцем нефтяной верфи, а хорошо быть лесником или садовником! Или, на крайний случай, писать — так, как будто стережёшь лес или высаживаешь деревья — маленькие тонкие дички, в которых много беззащитности и твоих невесёлых раздумий о дальнейшей судьбе этих берёзок

и черёмушек, ёлок и сосенок, но и всегдашняя надежда — на их благополучное устройство под этим небом, на этой земле, в этом вечно враждующем беспокойном мире, где и людские головы снимают с плеч не задумываясь, а вот сбережение жизни во всяком существе теле требует, по-видимому, какого-то невозможного усилия.

Откровение

В душный летний день опустился на колени перед кедровым выворотнем, поверх которого уже вырос мох, и рассыпалась весёлым красным полымем брусника. Припал к родниковой лужице, стараясь не потревожить лежавшие на дне листья, хвою и прочий лесной сор. Пил. И по мере того, как вода глоток за глотком заливалась в меня, забывались мои судорожные шараханья по тайге в поисках питья, и по-другому высвечивалась моя одинокая, заплутавшая от тропинки к тропинке, от черновика к черновику, от сердца к сердцу писательская жизнь. И чем утоление было ближе, тем явственней проступала давняя, в чём-то наивная и уж конечно не новая мысль о том, что и откровение в творчестве — вроде родничка в сухом летнем лесу. Долго, с горькими лишениями ищешь, натываясь на тычки, плевики, ревность, зависть, глухое молчание и всё то, что ниспослано тебе за право владеть талантом. Наконец, видишь впереди неясный просвет. Идешь, как сквозь чашу или бурелом. И уже там, откуда светило и где вправду светло, много-много пьешь, подозревая, что отпущено, может быть, на два пальца, но радуясь и этой мере и не боясь осушить её в один присест. Бывает, переусердствуешь и взболтнёшь, а после ждёшь, когда осядут самолюбование, гордыня и другая утробная гниль. Потому что грязная лужа отстоится, а плохая книга — никогда.

Августа печать

1

На небе ни облачка. Тихо: едет по улице бензовоз и, кроме утробного сапа его, слышно, как дорожные камешки, разбрасываясь из-под колёс, катятся с характерным постуком, ударяясь друг о друга.

Жарко. Особенно черна и прохладна тень всякого строения, будь то дом, баня или сарай. На солнце и вовсе пекло, и слепит, как ни в какую другую пору, мелованная страница журнала. В подвесном ящике из реек, обтянутом тюлем, томятся ельцы и шуки, и если с треском, как с картонной коробки скотч, ободрать сухую жёсткую шкурку и уцепить рыбу зубами, мясо вдоль позвоночника снимется рубиново-красным ломтиком с завихреньями яркой недовяленной мякоти в месте разрыва.

Время к осени. Через неделю-другую копать картошку, воздыматься дымокуры. Кое-кто уже скосил ботву, чтоб земля подсохла за оставшиеся дни, и картошка налилась на последнем греве. Но пока ни в огородах, ни в оградах ни души. Только воробы с цвирканьем скачут по поленнице, карябая сухую кору, да кот, жмурясь, стережёт их в траве, делая вид, что дремлет, а сам время от времени механистично поигрывает напружиненным хвостом. А поднимется собака попить — лакает из чашки крупными глубокими хлебками, но и потом, часто дыша, стоит с закрытыми глазами, свесив длинный розовый язык.

В посёлке торжественно, как в школе перед праздничной линейкой. После обеда, когда отхлынет жара и на солнце напоздёт ватное облачко, пенсионерки в больших жёлтых панамках водят городских внуков и внучек за руку, кормят мороженым по первому требованию, а проводив с вечерним автобусом, плетутся одни-одинёшеньки и догрызают за ребяtnей пустые вафельные стаканчики.

— Пусть с родителями живут! — говорят, кивая сами себе. Но и самим себе не очень-то верят, достают из кармана дешёвые мобильные телефоны с крупными клавишами. Щурясь, смотрят на экранчик: не зазвонит ли?..

На закате ясно, выразительно. Сине. Ветерок и колебанье травы, которую до темноты щиплют пущенные в ропуск коровы.

2

... Впрочем, куда лучше меня прочувствовал эти дни и передал это настроение вологодский поэт Антон Чёрный:

...мóлча холодело лето
И тяжелела августа печать
Над Займищем... Я не пишу об этом.
Я слишком счастлив, чтобы замечать.

Первые жёлтые

Над рекой белый дышащий дым. Огни танкера, длинный грохот цепи. Тяжёлый сухой сап всю ночь. Гортанный лай лисы на берегу, рыжее полыхание её в кромешной зге. Сама река — синяя, фосфоресцирующая, утекающая сквозь ветки, верши, время, пальцы...

Наутро сети приносят первые жёлтые листья, как первые стихи после долгого молчания, да только нет в том отрады, когда вода утекла, а листья остались.

Кончается вода

После выступления в центральной городской библиотеке отказался от ужина. Ушёл к себе, с трудным стариковским сапом взбираясь по лестничным ступеням и не меньше минуты отдыхая через пяток-другой. Лежал пластом на деревянной кровати у окна в трёхместном гостиничном номере. Принимал таблетки: сглотнёт одну, шумно отхлебнёт из кружки, засечёт время — и снова лежит, зажав в руке массивный «Нокиа» с большими выпуклыми клавишами. Время от времени подносит к глазам, тюкает в кнопочку, чтоб засветился экран, сверяется с графиком — и снова за таблетку, уже другую. Их несколько; разложены на столе с заданным интервалом, словно пули разных моделей при снаряжении патронов. Есть плоские, есть в виде горошин, а есть и капсулка, красная, словно капелька крови или брусничка во бору...

— О, белка! — взволнованным криком, в очередной раз привстав за таблеткой и глядя в окно с торчащими за ним верхушками берёз и сосен.

Перед сном читал, надев очки и воспалив настенную лампу — белую энергосберегающую луковку на длинной, как у лебедя, шее. Но и потом ещё долго не

спал. Гнезвился, переваливаясь с боку на бок, и то подкладывал вторую подушку, то подтыкал одеяло. И только когда надел шерстяные носки на собачьем пуху, сразу успокоился, лёг и засопел, как будто и во сне покорял свою лестницу, последний пролёт — самый верхний, самый тяжёлый.

Проснулись на рассвете оттого, что искал телефон. Вывернул все карманы, перекопал постель и даже поскрёб тросточкой под кроватью. Бродил из угла в угол с потерянными видом и взъёршенными после сна волосами. С подёрнутыми плёнкой творожно-голубыми глазами с мертвенным мерцанием стёклышка в одном. А когда я набрал нужные цифры и мобильник зазвонил в оттопыренной книжке, куда он с вечера положил его вместо закладки, — сначала обрадовался, а затем смутился, сел на краешек. И вдруг стал такой старенький, трогательный, виноватый, с подростковыми тонкими руками...

— Да мне только время посмотреть, число и год...

На лесном кордоне, куда повезли в качестве завершения культурной программы, всё спрашивал удочку. Хорохорился, порываясь убежать вверх по Ишидею за «хайрюзами». А когда показали, где взять, неопределённо кивнул — и снова засел за свою книжку. Так просидел субботу и воскресенье, удобно расположившись на уличной лавке перед входом в егерскую избушку и наклоняя книгу по мере того, как солнце двигалось над белыми от снега Восточными Саянами.

— Поехали? Всё взяли?! — когда уезжали наутро — проверять железные клетки-ловушки, поставленные на медведей.

Вечером встречал на дороге, едва показались из тайги на ГАЗ-66 и двух заляпанных грязью квадроциклах, редевших чисто и турбинно.

— Пр-р-ри-ве-е-т! Я вас заждался! — И хвалился, пробуя поймать за алые языки вившихся радостных лаек: — А я сегодня до моста прогулялся...

Накануне отъезда стоял у реки, подперев себя тростью. Смотрел, как бежит и никогда не кончается. Снова спросил про удочку. И кто-то из пожилых охотников, бывших на кордоне, сказал:

— Вот так, наверное, каждый раз мысленно прощается и не знает, увидит ли когда-нибудь ещё.

Подраться с Есениным

Чистые, без единого червя. Штук двадцать — запашистых, крепких, в налиплих травинках и комочках земли. Невозможно прекрасных зимой в расписной керамической тарелке да под рюмку горькой из отпотевшей морозной бутылки... Рыжики!

В лесу видел — нет, лучше сказать «встретил!» — маленького белого груздя, прокопавшего золотую опавшую хвою лиственниц. Обрадовался, как доброму знакомому. И снова всколыхнулась тайная, мальчишеская, хранимая за семью печатями мечта: вот бы так-то собирать грибы с русскими писателями! Пройтись по сосняку со Львом Толстым. Ковырять палкой листья — с Михаилом Пришвиным. Наперегонки искать рыжики с Николаем Рубцовым. А то, сбросив пиджак, разодраться с Есениным из-за сыроежки, да так, чтобы деревенские бабы, набежав, залопотали восхищённо:

— Вон-вон, смотрите! Сошлись два бычка на одной улице! А наш-то, мало что не пьяный, тоже залупается, бьёт прямо в носопырку...

Уже никогда, ни в какой жизни! Но страшно, что ещё задолго до рождения, — ни-ког-да. Никогда — с Шукшиным, с Платоновым. С Буниным. Навсегда — одним-одному, со своим неразлучным одиночеством, в пустом аквариуме современной русской литературы, когда докричаться не до кого, сколько ни задыхайся...

Завтра утром — опять по грибы. С дождём на пару. Надо завести будильник на шесть. Вот бы лыковую корзину — как у Аксакова.

Рассказ

Ездили на «Иж-Планете» с дощатым коробом вместо коляски. Искали: грузди в осиннике напротив кладбища, маслята — в сосняке за электроподстанцией, волнушки и рыжики — в ельнике на Казарихе. Чёрную смородину — на старой просеке... И так весь ясный сухой день бабьего лета! Обедали на газетке, проткнув углы веточками, чтоб не задирали ветром. Макали зелёный дикий лук в полиэтиленовый кулёк с солью. Хрумкали огурцом. Ломали запашистый деревенский хлеб, со смехом деля: ему — корку, ей — сдобный мякиш. И цвиркали над головой лесные синицы, скрёбся по коре поползень, сновали чёрные муравьи. Огненная соколовская (или набоковская?) бабочка дремала на красном цветке мотоциклетного подфарника...

— Щас бы бутылочку-у!.. — мечтал, пуская ртом дымные облака на вившихся редких комаров.

— По затылочку! — предупреждала, развязав косынку и постелив на полные грузные колени. Узел кос тугой вправляя в малюсенькое резиновое колечко, раз и другой стянув его восьмёрником. — Так что лучше сиди...

— Дак сижу, — соглашался. — Тебя охраняю...

— Будто кто подхватит и унесёт! — кокетливо фыркала, сдув с губы огуречное семечко. Глядя нежно, коровьи.

— Унести не унесут, — загасив окурок, поддакивал да подливал из термоса, да бросал в кружки по смородиновому листику — ему и ей. И пахло — смородиной, летом, пыльной веткой. — Но укатить — могут!

...Собирались под вечер, складывали в коляску узелок с едой, вёдра, синий флакончик «Рефтамида». И он, сидя за рулём и страстно газуя, мысленно делил её на две равные половины и методом простых подсчётов выяснял, что, закинув одну ногу на седулку, она — ражая, грудастая! — возлагала на него «ижака» столько-то кило живого веса, в то время как вторые столько же всё ещё стояли на земле. А когда она, подобрав подол, наконец мостилась вся, он вёз её домой, безмерно довольный судьбой и возникшим давлением на заднее колесо. «Вся моя!» — любовно посматривал в боковое зеркальце, и нарочно правил крутой обочиной, чтоб задиралась коляска и душа уходила в пятки...

И так-то они ехали в смуглых осенних сумерках, и жёлтыми луковицами горели под горой первые огни посёлка.

Бабочка дрожит

Пробрасывает игольчатым дождём. Это ещё не снег, но уже и не дождь, да и осень, если разобраться, — уже не лето, но ещё не зима, а жизнь, как сказал

кто-то из великих, есть коротание срока от рождения до смерти. И как счастья на земле не бывает много, так и солнце теперь лишь изредка мелькнёт из-за туч. Но чаще — тучи без солнца, а дни — с ветром, надувающим лес в сопках и флаг над крышей сельсовета. В палисаднике валяются и валяются листья, словно ключья шерсти с больной собаки. И журавли летят на юг (вчера насчитал до пятидесяти трёх в двух косяках). Пока не плачут — не прохлестало снегом, ещё есть время и спеть, и улететь.

Но чёрная, с изумрудными глазами бабочка мёрзнет уже и при осеннем прощальном солнце, не может поднять бархатных крыльев и едва заметно дрожит, сидя на береговом камне у воды. Никогда бы не подумал, что бескровное насекомое способно дрожать, что оно, как и мы, «кожей» чувствует холод! Только когда принял крохотку в ладонь, бабочка отогрелась. Раз-другой сложилась и разложила крыльями, будто маленькая праздничная открытка. И упорхнула, ничего не оставив на память, кроме этой миниатюры и той невыразимой, пьющей душу печали, какая овладевает нами, когда провожаем навсегда, а сами остаёмся, зная, что уже не будет встречи — в этой жизни, на этой земле, под этим то ясным, то ненастным небом, под которым стоишь сейчас смиренной луговой былинки, как, наверное, будешь стоять в конце, на пороге вечной разлуки, уходя сам и помня о тех дорогах, любимых, кто станет провожать, ни в чём не находя себе утешения.

В такие дни

Посыпалось ещё вчера, а утро встретило мягкой, сантиметров пять, порошей. И какой-нибудь окостеневший штырёк — пенёк от срубленной новогодней ёлки — чернеет на снегу негасимой памятью о человеке, который прошёл здесь за много лет до тебя...

В такие дни хочется жить долго-долго, вставать с петухами, писать очень нужные людям стихи и рассказы и печатать в районной газете, бережно скрепляя вырезки канцелярской скрепкой.

С любовью и смыслом

К зиме в деревне — первая убоина. Короткие резкие выстрелы, лай собак, рёв паяльных ламп на морозе, запах крови и жжёной шерсти. Дымящиеся груды мускулистого красного мяса. И — тучи ворон над двором, где надёрнут на гвоздь жёлчный свиной пузырь или выброшена на заплот ещё тёплая бычья шкура. К вечеру она застынет, а к утру промёрзнет насквозь. «Тук! Тук! Тук!» — как по фанере. С раннего утра до позднего вечера. Это синицы. Для них и вывешивают, чтобы клевали всю зиму. Так и говорят:

— Пусть птички клюют!

Может быть, ничего сверх не сделают, не обрежут пластиковую бутылку, не подвесьт на шнурке в саду и не насыплют подсолнуховых семечек, не объявят «Синичкин праздник»... Но откинуть шкуру на забор — непременно!

Иногда (впрочем, теперь совсем редко) в этом откидывании — прямой смысл: до весны птахи измездят шкуру так, что бери обезжиренную и делай, что хочешь. Но ведь в деревне, на земле издавна так повелось, что во всяком жесте, в

поведении, в делах никогда не было этакой игры в добродетель, и уж если называлось добром, то добром и являлось, и за добро почиталось, а коли для чего-то творилось, то, как правило, не за-ради морального удовлетворения, а лишь потому, что рука об руку шло с жизненной необходимостью. Иначе за игрой в добродетель деревенский человек расплыл бы все свои силы, которых у него и без того в обрез, то есть ровно столько, сколько требуется для жизни — не больше, не меньше.

Вот почему произведение искусства тогда, по-моему, хорошо, когда добродетельно по сути, а сумма затраченных на его создание средств сообразна коэффициенту полезных действий этого произведения на практике.

Дрова

Очень тёплый, почти как весной, декабрьский день, сыплет пушистый влажный снег. Отец то и дело сметает его пластмассовой метлой со спины у коровы, уже с утра жующей сено в загоне, но спустя несколько минут корову запорошивает снова.

Дописался до того, что, выключив компьютер и взяв карандаш, подумал: «Надо переключить с английского на русский!» Тут же собрался с беговыми лыжами в лес. Уже снарядился и вышел к калитке, но увидел, что братья Таюрские, мои сверстники, ставят в поленницы только что распиленные и расколотые дрова — и остался дома...

Назавтра тоже купили два хлыста, по тысяче рублей за штуку. Пилил, колол, складывал. Как Таюрские. А их что-то не было видно. Наверное, сидели дома и писали мои рассказы.